
Медвяный
ГОЛОС
18+
Роман Кубов

Роман Кубов

Медвяный голос

https://litres.ru/74717808
SelfPub; 2026

Аннотация

Семиключье стоит на Медвянке, и триста лет его держит одна липа над Старым Бродом: в её дупле живёт мирской улей, с которого город берёт оброк — двенадцать пудов мёда и четыре пуда воска. Дерево признали самым прямым и хотят пустить на мост.

Бортница Заряна Коса, последняя в роду с медвяным голосом, просит срок до Покрова: перегнать рой в новую борть, пока пчёлы ещё помнят её голос. Три весны она к этой борти не подходила, а голос теряется за три весны. За спиной у неё долг откупщику, сход, который верит не обещаниям, а записи в книге, и воскобой Радим, который считает свечи и не считает слова.

Перегон — восемьсот шагов по росе с роем на руке. За перегоном мост, за мостом зима, воск и договор, который придётся подписывать втроём. Славянское фэнтези о работе, долге и о том, что голос возвращается не сам, а к тому, кто рядом.

Содержание

Глава 1. Липа над бродом 4
Глава 2. Воск и свет 12
Глава 3. Три весны 20
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Медвяный голос

Глава 1. Липа над бродом

Липа над Старым Бродом стоит на самом берегу, и когда вода в Медвянке падает к июлю, из неё становится видно корень — он держит берег, как рука держит край стола.

Мне двадцать шесть лет, и я знаю это дерево дольше, чем помню себя.

Дед водил меня к ней, когда мне было четыре. Он поднимал меня на руки, чтобы я дотянулась до зарубки: у бортников на каждой липе своя метка, чтобы чужой не полез. Наша метка — коса, три чёрточки вкось. Отсюда и фамилия: Коса. Не от девичьей красоты, как думают приезжие, а от зарубки.

— Смотри, — говорил дед. — Слышишь?

Я прикладывала ухо к коре и слышала: в липе гудело. Не громко, ровно, как будто внутри дерева кто-то держит длинную низкую ноту и не отпускает.

— Это что? — спрашивала я.

— Это улей, — говорил дед. — Он поёт.

Мирской улей. Так его зовут в Семиключье, потому что он не мой и не дедов. Он мирской: общий. Он в этом дупле триста лет, и всё это время оброк — двенадцать пудов мёда и четыре пуда воска к Покрову — шёл отсюда, из этой одной борти, и город на этом стоял.

И вот в то утро, в конце июня, к липе подъехали на телеге трое, и один из них вылез с верёвкой и мерной палкой.

Я как раз была на своём путце: перебирала ход к борти, потому что верёвка за зиму подгнила.

— Эй, — сказала я сверху. — Тут люди.

Мужик с палкой поднял голову.

— Приказчик Косма, — сказал он. — От Бурмилы.

— И что тебе тут?

— Считаю.

— Что ты тут считаешь?

— Лес, — сказал он. — И дерево, которое самое прямое.

Он приложил палку к стволу и отмерил, потом отошёл на десять шагов и посмотрел оттуда, прищурившись, как смотрят на лошадь при покупке.

— Прямое, — сказал он. — Самое прямое на весь брод.

Я спустилась. Пока спускалась, у меня от злости дрожали руки, и это было неудобно, потому что по путцу нельзя спускаться злой: верёвка чувствует.

— Косма, — сказала я. — Это мирской улей.

— Знаю.

— Ему триста лет.

— Знаю, — сказал он. — И мост нам нужен до первого льда. И брёвен надо сорок. И сорок два приказ мне велел найти, чтобы два в запас.

— И ты нашёл это дерево.

— Я нашёл сорок два дерева, — сказал Косма. — Но са-

мое прямое — вот это. И староста уже смотрел. И Бурмило смотрел.

Он записал что-то в книжицу и пошёл к телеге, и у телеги обернулся.

— Заряна.

— Чего?

— Тебе бы оброк собрать, — сказал он. — Не до липы тебе.

И они уехали, и мерин Бурмилин тащил телегу по песку медленно, как будто ему было стыдно.

Я стояла на берегу и смотрела, как мелкий ручей впадает в Медвянку и уносит мою тень.

Кудлай подошёл и ткнулся мне в колено мокрым носом.

— Ничего, — сказала я. — Ничего, Кудлай.

И соврала.

Оброк я собирала всегда в августе, к Медовому Спасу, а отдавала на Покров. Так делали все бортники Семиключья: снимали медвяные рамки в две руки, чтобы не выдрать гнездо, везли на телеге в город, ставили горшки в мирской амбар, и староста Ратша считал с тобой пуды.

Я арендовала тринадцать бортей в Осиновом Груду и шесть в Липках. Своей у меня была одна — у меня не было земли. За аренду я платила половину меда хозяину дерева, и это было справедливо: дерево его, а работа моя.

Мирской улей не принадлежал никому и поэтому принадлежал всем.

Вот это я и думала весь день, пока ходила по своим липам: что за триста лет город обобрал одну липу до нитки и не подумал, что липа не вечная.

— А она не вечная, — сказала Любава вечером, когда я пришла к её лотку. — Конечно, не вечная.

— Ей триста лет.

— Вот именно, — сказала Любава. — Ты посмотри, у неё же в комле дупло будет к осени. Ей уже тяжело.

Любава торгует мёдом в Бортном посаде, ей двадцать девять, и она умеет говорить вещи, которые я думаю, но не произношу.

— И что? — сказала я.

— И то, что ты, если чем к ней и приросла, то не корой, — сказала Любава. — Ты ещё в третьем году говорила, что её надо перегнать.

Я молчала. В третьем году я ещё много чего говорила.

Лабаз пахнет воском и липой, и этот запах я узнаю, даже если мне завяжут глаза и увезут за сто верст.

Вечером я сидела в лабазе и резала восковые круги на продажу, и Кудлай спал, положив морду на порог, и всё было как всегда, кроме одного: во мне сидела липа.

Дверь стукнула.

В дверях стоял Ждан — сирота с Кузнечного, двенадцатилетний, длинный и тощий, как будто его вытягивали, а он сопротивлялся.

— Заряна.

— Чего тебе?

— Я слышал, — сказал он. — Про липу.

— И что ты слышал?

— Что её под мост.

Он стоял и переминался.

— Ты есть хочешь? — спросила я.

— Хочу.

— Хлеб в углу, мёд на полке. Горшки не бить — мне бить не на что.

Он сгрыз половину каравая. Я смотрела, как он ест, и думала о том, что в этом городе за еду работают, и что я тоже когда-то так пришла к одной старой бортнице, и что та меня накормила и ни о чём не спросила.

— Заряна.

— М.

— А куда пчёлы денутся, если липу под сруб?

Вот так: ребёнок спросил то, чего не спросил ни Косма, ни Бурмило, ни староста.

— Не знаю, — сказала я. — Умрут, наверное.

— Ага, — сказал Ждан и вытер рот рукавом. — Я тогда к тебе пойду.

— Куда?

— В подручные. За хлеб, — сказал он. — Я на дерево залезу. Мне вон двенадцать, я легче тебя.

Я засмеялась. Впервые за день.

— Тебе двенадцать, — сказала я. — Ты на путец с сорока

саженей вниз смотреть будешь через надзора.

— А с чего ты взяла, что ты надзор? — сказал Ждан.

Я посмотрела на него и поняла, что не знаю, что сказать.

Ночью я вышла из лабаза и пошла к броду.

Кудлай шёл рядом, не брехал. Он знает, куда мы идём: мы ходим туда с тех пор, когда дед ещё был дома.

У липы я остановилась и приложила ладонь к коре, а потом ухо.

Внутри гудело.

Я слушала долго, минуту, две.

И вот тут я поняла вещь, которую мне не хотелось понимать.

Гул в липе был ровный, усталый, как дыхание у человека, которого разбудили слишком рано. Голос, который я слышала в четыре года, звучал выше и задиристее. Теперь он был ниже — и, главное, он был не для меня. Он не подстраивался. Раньше, когда я подходила к борти, гул менялся: делался чуть урчащим, как будто улей отвечал. Теперь он шёл ровно, никак.

Как будто я пришла в дом, где меня больше не знают в лицо.

— Ну и что, — сказала я вслух. — Ну и пусть.

Голос мой сорвался на первом «ну».

Я села на траву у дерева, и Кудлай лёг рядом и положил голову на лапы.

Три весны. Три весны я не подходила к этой борти.

В первую весну дед собрал сумку и ушёл к сыну в Заречье: сказал, что ему хватит лип и хватит меня. Ушёл и не вернулся, и это оказалось хуже любой другой беды, потому что про другую беду я хотя бы знала, как себя вести.

Во вторую весну я взяла долг у Бурмилы на четыре колоды и уехала работать на его дальнюю пасеку, где борти не в липах, а в привозных колодах, и где мёд качают насосом через трубу, и он пахнет медом так же, как сахарный сироп пахнет воском.

В третью я выплачивала.

Три весны. Пчёлы забывают голос за три весны. Это не поговорка, это правило: я его знала и всё равно не думала, что оно про меня.

Домой я вернулась в темноте.

В сенях стоял Ждан, которого я не звала, и спал на моём полушубке.

— Ты чего тут?

— А вы же не сказали, чтобы я ушёл, — сказал он.

— Я сказала тебе взять хлеб.

— И всё равно не сказали.

Я постояла, потом сказала:

— Ложись на лежанку. И утром пойдёшь со мной.

— Куда?

— К старосте, — сказала я. — Просить, чтобы липу не рубили.

Ждан сел на лежанке, и глаза у него стали как два фонаря.

— А они не согласятся, — сказал он.

— Не согласятся, — сказала я. — Поэтому я буду просить не так.

— А как?

— Ждать утра, — сказала я. — Утро умнее меня. Утром я придумаю, как — так.

Кудлай вздохнул, лёг на пороге и заснул, и я лежала в темноте и думала про три весны, про мост, про Космy с его палкой и про то, как тонко поёт улей, когда тебя не узнают.

Утро, правда, ничего не придумало.

Зато оно привело ко мне человека с воском.

Глава 2. Воск и свет

Человек с воском пришёл в лабаз, когда солнце встало над Осиновым Грудом и в щелях заиграли пылинки.

— Заряна Коса? — спросил он.

— Я.

— Радим Светень. Свечной ряд.

Я знала свечной ряд. Я двадцать лет возила туда воск и знала всех, кроме этого.

— Вы у нас два года не были, — сказала я.

— Я два года не был, — согласился он. — Я был на Соли.

— Зачем?

— Варил свечи для соляных амбаров, — сказал Радим. — Там свеча должна гореть в мокром. У меня получилось.

Он сказал это без хвастовства, как сообщают, что река вскрылась.

— И что вам нужно? — спросила я.

— Воск, — сказал он. — Хороший. Не тот, что вы давали в третьем году.

Вот это было уже обидно.

— В третьем году я давала хороший.

— В третьем году вы давали воск, перетопленный два раза, — сказал Радим. — Он жёлтый и пахнет медом, а свеча из него идёт косо и заливает фитиль. Я его весь переварил в тот раз и всё равно потерял три долины.

Я стояла с ножом в руке, и в лабазе стало очень тихо.

— Радим Светень.

— Что?

— А вы знаете, почему он был перетопленный дважды?

— Потому что вы экономили.

— Потому что я брала воск с чужой пасеки, — сказала я. — У Бурмилы все рамки идут через сушилку, а сушилка у него тёплая, и воск из неё выходит уже тёмный. Я перетапливала его второй раз, чтобы он был хоть какой-то, а не тёмный. И я вам за это ничего не прибавила в цене.

Радим помолчал.

— А зачем вы брали у Бурмилы?

— Затем, что у меня долг Бурмиле. Двести сорок гривен.

Он посмотрел на полки, на круги воска, на Кудлая, на Ждана, который стоял в дверях и доедал вчерашний хлеб.

— А свой воск у вас есть?

— Есть, — сказала я. — Своих бортей у меня пять. С них воску выходит пуд с четвертью. Мне надо четыре пуда на оброк.

— Значит, три пуда вы покупаете.

— Покупаю, — сказала я. — У Бурмилы.

Радим сел на лавку у двери и стал смотреть на свои руки.

— Я вам скажу, зачем я пришёл, — сказал он. — Я вам скажу прямо, и вы на меня не обижайтесь, а потом обижайтесь, если захотите.

— Говорите.

— Мне надо к Покрову сто двадцать свечей, — сказал он. — Это не на продажу. Это на переправу и в ночное: чтобы у паромщика было чем светить, чтобы на Старом Броде стояла свеча и люди не ехали вброд в темноте. Двадцать лет на броду стоял фонарь со свечой, и свечу ставил мой отец, а теперь он в Заречье живёт с сестрой, и свечу ставлю я.

— И что?

— А то, — сказал Радим, — что в этом году моста нет, льда нет, и до Покрова на броду будут ездить в темноте. И мне нужно сто двадцать свечей, которые не плывут.

Я села напротив.

— Хорошо, — сказала я. — У меня есть пуд воска, который я держала для себя. Он двойной очистки, я его варила с водой и с липовым углём, он белый.

— Белый?

— Светло-кремовый, — сказала я. — Если вам нужен белый, вам нужен не мой воск, вам нужен отбельщик.

— Мне нужен тот, который держит фитиль, — сказал Радим. — И ещё мне нужен тот, кто скажет мне правду про липу.

Мы посмотрели друг на друга.

— Вам Косма уже сказал? — спросила я.

— Косма мне сказал, что липа — это сорок брёвен, — ответил Радим. — И что если не будет моста, воск с левого берега будут возить вброд, как возили двадцать лет, и я каждую весну буду терять две долины, и свечи в Семиключье

будут косые.

— А я вам скажу, — сказала я, — что если эту липу срубят, то у Семиключья не будет ни моста, ни мёда, потому что второго такого улья нет и не будет.

— Почему?

— Потому что мирской улей — это не пчёлы, — сказала я. — Маток можно купить, пчёл можно перегнать, колоды можно наделать. Улей — это место. У него своё место, и оно не переносится.

— Переносится, — сказал Радим. — Перегон.

В лабазе стало так тихо, что слышно было, как в углу капает воск с ножа.

— Вы знаете про перегон? — спросила я.

— Я воскобой, — сказал Радим. — Я двадцать лет варю воск и знаю, что пчёлы идут на голос. И знаю, что перегон делается на рассвете, по росе, в одно утро, и второго утра не будет.

— Знаете, — сказала я. — А ещё вы знаете, что голос может только тот, чей голос улей помнит?

— Знаю.

— А вы знаете, чей голос помнит этот улей?

Радим посмотрел на меня очень внимательно.

— Ваш, — сказал он.

— Мой, — сказала я. — Только он его забыл.

Ждан, который всё это время стоял в дверях, сказал:

— А что, так бывает?

— Бывает, — сказала я. — Пропусти три весны — и всё.

— И как вернуть?

— Три весны работать, — сказала я. — Три весны рядом. А у меня одна.

Радим встал и подошёл к полке.

— Хороший воск, — сказал он, взяв круг. — Вы его варили с углём?

— С липовым.

— А зимой он белеет?

— Белеет, если стоять на морозе, — сказала я. — Но я вам не об этом. Я вам об улье.

— Я понял, — сказал Радим. — Вы думаете, что я пришёл сказать: рубите, мне нужен мост.

— А вы пришли сказать не это?

Он положил круг на место и вытер руки о штаны — вот тут я впервые увидела, что он всё-таки воскобой, потому что у настоящего воскобоя руки всегда чуть жёлтые у ногтей.

— Я пришёл сказать вот что, — сказал он. — Я в этом городе живу весь год. Мне мост нужен не для воска. Мне мост нужен потому, что на этом броду каждую весну рвёт телеги, и двадцать лет люди платят паромщику по три гривны, а у кого нет трёх гривен, тот едет вброд по пояс в воде. И когда в позапрошлом году у Кузнечного снесло телегу с горшками, — сказал он, — горшечник сидел на том берегу и плакал. Я его видел, потому что я шёл за воском и не мог перейти.

Я молчала.

— А теперь вы мне скажите за липу, — сказал Радим. — Вы правда можете её перегнать?

— Могу, — сказала я. — Если верну голос.

— А сколько на это надо?

— Три весны.

— А у вас?

— Одна.

— И что?

— А то, — сказала я, — что голос возвращается не только веснами. Он возвращается работой. Если я буду рядом каждый день, с утра, и делать всё правильно, — может быть, он вернётся за одно лето. Может быть. Никто не пробовал так.

— А если не вернётся?

— Тогда пчёл придётся выводить с дымом и надеждой, — сказала я. — И тогда я вам скажу честно: я не знаю, что будет с ульем.

Радим долго смотрел на меня, потом сказал:

— Вы прядете воск?

— Что?

— Простите, — сказал он. — Я говорю «прясть воск», у нас так говорят. Это когда из воска тянут.

— Я знаю, как у вас говорят, — сказала я. — Я двадцать лет вожу вам воск.

— Прядите тогда, — сказал Радим. — Я у вас возьму весь, который у вас есть, а за белый дам девять гривен с половиной, а не девять.

— Зачем?

— Затем, что труду надо платить, — сказал он. — И ещё затем, что я хочу взять у вас ещё один воск — тот, который будет, если вы перегоните улей. Мне интересно, что выйдет из липового улья. Он стоял на липе триста лет, он пил липовый цвет, и воск из него должен быть…

Он не нашёл слова.

— Светлый, — сказала я.

— Светлый, — согласился он.

Он ушёл, унося два круга воска в мешке, и Кудлай увязался провожать его до ручья и вернулся очень довольный, как будто ему дали то, чего я не видела.

Ждан сел на лавку и сказал:

— Заряна.

— Что.

— А он к нам придёт ещё?

— Придёт, — сказала я. — Наверное.

— Он купил два круга, — сказал Ждан. — Это восемнадцать гривен. А до взноса тебе надо двадцать. Тебе четыре не хватает.

Я посмотрела на него.

— Ждан.

— Что?

— А ты считать умеешь?

— Умею, — сказал он. — Меня дьяк учил. Я могу в колонку.

Я не знала, что сказать, поэтому сказала:

— Мёду не ешь больше ложки в день.

— Я и не ем, — сказал он. — Я уже третий день считаю.

Вечером я пошла к липе ещё раз.

Пришла, села на траву спиной к стволу, и не стала слушать — слушать надо на восходе, когда улей идёт с облёта и всё слышит. Я просто сидела.

Потом подняла голову и сказала:

— Ну здорова.

Улей гудел.

— Я знаю, что я виновата, — сказала я. — Я знаю, что три весны. Я тебе не про это.

Кудлай тихо подвывал, потому что он не любит, когда я говорю с деревом.

— Я тебе скажу, что будет, — сказала я. — Я приду завтра на восходе. И послезавтра. И через год. И если ты меня не узнаешь к Покрову — ладно, я буду приходить, пока не узнаешь.

Мне не ответили.

Я встала, отряхнула подол и пошла домой, и на первом шаге от берега мне показалось, что в стволе что-то дрогнуло — совсем чуть-чуть, на полтоны.

Я не обернулась. Бортники не оборачиваются.

Но я запомнила.

Глава 3. Три весны

Улей слушают на восходе.

Я пришла затемно, легла на траву и стала ждать. Роса легла на рукава и на волосы, Кудлай свернулся у меня под боком и засопел.

Солнце встало, и улей заговорил.

Я слушала полчаса. Потом встала и пошла домой, считая деревья, на которых работаю: тринадцать. Из них двенадцать — чужие.

И если считать по-настоящему, то в Семиключье две бортницы: я и старая Устинья из Липок, которой семьдесят девять и которая не лазает на деревья с тех пор, как ей стукнуло шестьдесят. Всё остальное — омшаники, колоды, воскобойни и Бурмило.

Сходы в Семиключье бывают в двух местах: у мирского амбара и у часовни. Большой сход — у амбара, на досках, которые кладут на два чурбака.

Староста Ратша сидел на чурбаке, рядом стоял Косма с книжицей, а Бурмило сидел на телеге и не слезал — это чтобы все видели, что он может и не приезжать.

— Первое, — сказал Ратша. — Оброк.

Он читал по листу: сколько с кого, у кого сколько бортей, кто когда сдаёт.

— Бортный посад: Заряна Коса, тринадцать бортей в Гру-

ду и шесть в Липках, оброк двенадцать пудов мёду и четыре пуда воску.

— Двенадцать, — сказала я.

— Двенадцать, — сказал Ратша и посмотрел на меня. — Тебе бы в этом году… — он не договорил.

— Что?

— Ничего, — сказал староста. — Пиши, Косма.

Я поняла, что он хотел сказать: тебе бы в этом году оброк вполовину. И не сказал, потому что Бурмило рядом, а при Бурмиле в Семиключье не говорят ничего, что можно потом вспомнить на торгу.

— Второе, — сказал Ратша. — Мост.

Вот тут все повернулись.

— Нам надо сорок брёвен, — сказал староста. — Чтобы до льда. Прокоп-мостовик взялся ставить, но брёвна надо дать лесом. Я смотрел Груд: на мост из Груда уйдёт сорок два дерева и ещё два кузнецам на настил. Но в Груду деревья кривые у воды, весной их рвёт.

Он помолчал и постучал палкой по доске, чтобы слышали задние.

— А на Броду стоит липа, — сказал он. — Прямое дерево, по сухой земле, вырыть под неё можно легко. И вот с этим деревом — беда.

— Беда не в дереве, — сказала я.

— Дай сказать, — сказал староста.

Я замолчала и села обратно: на сходе бортник говорит

один раз и старосту не перебивает, иначе сход перестаёт быть сходом.

— С этим деревом беда, — повторил Ратша, — потому что в нём мирской улей. Триста лет. Оброк с него шёл, сколько я помню, и батя мой помнил.

— Триста, — сказал кто-то из задних. — Значит, пора и честь знать.

— Честь, — сказала я, — у всех разная.

— Заряна.

— Дай мне сказать, — сказала я. — Раз я бортница.

Ратша посмотрел на Бурмило. Бурмило не двинулся, но кивнул, и это было хуже, чем если бы он запретил.

Я вышла на доски.

— Улей можно перегнать, — сказала я. — Это делается. Перегон — это не сказки, это работа: вырубить новую борть в живой липе, принять её на сходе, положить в неё щепу из старого дупла и перегнать рой на рассвете, по росе, при трёх свидетелях.

— И в чём беда? — спросил Ратша.

— В том, что перегон делает тот, чей голос улей знает, — сказала я. — А мой голос этот улей забыл.

Сход зашептал.

— Как забыл?

— Меня три весны здесь не было, — сказала я. — Я работала на дальней пасеке. Голос возвращается работой, три весны. У меня одна.

— И что? — крикнули из задних.

— И то, — сказала я, — что у меня лето. Если я буду рядом каждый день, с восхода, и работать как надо, — может, и вернётся. А может, нет.

— А если нет?

— Если нет, — сказала я, — то липу вы срубите, а пчёлы уйдут, или их придётся выводить с дымом, и тогда я не поручусь за мирской улей.

— А что если мы найдём голос? — спросил Косма. — Есть же в уезде бортники с голосом?

— Есть, — сказала я. — Двое. Один в Заволочье, у него голос на три улья, но он берёт тридцать гривен за перегон. А второй — мой дед, который в Заречье и говорить с ним не о чем.

— Значит, тридцать гривен, — сказал Бурмило с телеги.

— Значит, тридцать гривен, — сказала я. — Только голос не берут за гривны. В Заволочье бортники выходят к улью с роднёй, и чужой, даже с голосом, для улья — чужой. Улей, который знает мой голос с четырёх лет, — это мой улей, даже если он теперь меня не помнит.

— Скажи просто, — сказал Ратша.

— Просто так, — сказала я. — Я прошу срок. Всё лето. Если к Покрову я не перегоню улей, я сама первая возьму топор.

Сход зашумел.

— А если ты перегонишь, — сказал Косма, — то всем

ждать до Покрова, а мост нужен до льда.

— Мост нужен до льда, — сказала я. — И брёвен надо сорок. Так возьмите их в Груду. Груд вы дадите кривыми деревьями — а вы дайте сорок два и наберите с них, сколько надо. Кривое дерево в мост не годится, да? А вы сделайте мостовику из кривого — крабы, перетки, на подпорку. У Прокопа руки не по-другому склеены.

Прокоп-мостовик сидел на чурбаке, старый, с руками, как корни, и я видела, что он уже не первый год думает то же, что сказала я.

— А вторая беда, — сказала я, — у моста будет ведь не только в брёвнах. У моста будет беда в том, что его будут ставить на берегу, где весной рвёт.

— Это ты к чему?

— К тому, — сказала я, — что вы хотите рубить дерево, которое этот берег держит. Липа корнем держит берег, и когда вы её срубите, берег поедет к следующей весне, и мост вы будете ставить уже над оползнем.

На досках стало тихо.

Ратша смотрел на реку, а Прокоп встал и сказал:

— Вот это она верно сказала.

Решение приняли так: мирской улей перегнать, срок — до Покрова; липу рубить после перегона и не раньше.

— А если до Покрова не перегонишь, — сказал Бурмило с телеги, — топор достанешь сама. Слышали все.

— Слышали все, — сказала я.

— И ещё, — сказал Бурмило. — У тебя долг. Сто восемьдесят.

— Сто восемьдесят.

— Взнос в этом месяце двадцать, — сказал он. — Стало быть, до Покрова ещё четыре взноса. Восемьдесят гривен. Где?

— Соберу, — сказала я.

— Собери, — сказал он. — Потому что я тебя к липе близко не подпущу, если ты мне будешь должен.

И вот тогда Радим, который стоял в конце досок и всё это время молчал, сказал:

— А если она соберёт мёдом, а мёд не продаст?

— Что? — сказал Бурмило.

— Мёд сейчас по три гривны горшок, — сказал Радим. — За лето у неё с пяти бортей своих будет четырнадцать горшков, это сорок два гривны. С княжих бортей тринадцати — половину отдаёт хозяину деревьев. Ей надо восемьдесят.

— И что ты предлагаешь? — спросил староста.

— Я предлагаю оброк обернуть воском, — сказал Радим. — Мёд пусть идёт в город, а воск — мне. Я беру у неё весь воск по девять с половиной, и беру не четыре пуда, а шесть, потому что у меня стоят сорок свечей на переправе, которые надо лить сейчас, а не на Покров.

Сход повернулся к Бурмило.

Бурмило долго молчал.

— Оброк я беру мёдом и воском, — сказал он. — Воск —

четыре пуда. Остальное — ваше дело.

— Слышали, — сказал Радим. — Тогда я беру у неё шесть.

— Зачем ты это сделал? — спросила я потом, когда сход разошёлся.

— Что?

— При всей улице меня выручил.

— Я не тебя выручил, — сказал Радим. — Я выручил переправу. Мне нужны свечи до Покрова, а не на Покров. Ты мне нужна работающая, а не сидящая в яме с долгом.

— Спасибо, — сказала я.

— Не надо, — сказал он. — Я тебе ещё вот что скажу. Ты на сходе сказала, что липа держит берег. Это правда?

— Правда.

— А ты знаешь, что мой берег — правый?

— Знаю.

— И что мост нужен с правого на левый, а берег у меня песок?

— Знаю.

Радим посмотрел на Медвянку.

— Тогда я тебе скажу так, — сказал он. — Ты была права на сходе, и это было неудобно, потому что мост я хочу больше тебя. Я хочу мост так, что готов был отдать липу. А теперь я не готов, и я не знаю, что мне с этим делать.

Я посмотрела на него.

— Радим Светень.

— Что?

— Ты сказал «я не готов», а не «мост не нужен».

— Ну.

— Это разное, — сказала я. — Это хорошее разное.

Ждан всё это выслушал, стоя у амбара, и по дороге домой сказал:

— Заряна, а почему дядя Бурмило с телеги не слезает?

— Потому что он думает, что, пока он сверху, все его видят.

— А я его не вижу.

— Вот и я тоже, — сказала я.

Кудлай, который шёл впереди, обернулся и вильнул хвостом.

В тот вечер я впервые за три года достала из лабаза тяжёлый восковой круг, который держала для себя, — белый, с липовым углём, — и понесла его в Восковой посад.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.